

...Жалкие времена, когда в почёте лишь одно искусство — умение набить свои житницы, воссесть на золотом стуле и жить сплошь в позолоте, не понимая, что натура человеческая неизменна и что, добывая золото извне, ты неизбежно утрачиваешь золото, которое хранится у тебя внутри, сокровище твоего духа...

Хосе Марти

1.

...Писатель из него был никудышный. Писал всегда мало, дело не клеилось, хотя мыслей всегда было предостаточно. Какая-то утробная лень не давала размахнуться, держала взаперти самые нужные выражения и слова. Часто задумываясь над своим желанием написать что-нибудь этакое... он копался в своём тщеславии, как в старом тряпье, выкинуть которое не позволяла беспросветная нищета, и,

естественно, отыскать в этом хламе что-нибудь стоящее не мог. Посылая свои опусы в местную газету, он совершенно не думал о том, что его напечатают. Его утешало уже только то, что кто-то, может быть, и прочтёт его писанину. Для его несостоявшегося самолюбия этого было достаточно. Его письма с двумя-тремя листочками немудрёных мыслей уходили, как в бездну, в глухую, непроглядную пропасть далёкой, чужой, не прочувствованной им жизни.

По всем приметам судьба уготовила ему роль алкоголика. Но он почему-то не пошёл туда, куда упорно тащила его «злодейка», хотя мальчишкою после армии, в студенчестве, начал было пристращаться к вину, повторяя начало пути всех пьяниц и забулдыг. Но где-то в начале что-то надломилось в нём или, наоборот, срослось, только судьба вдруг вильнула и совсем забыла о нём, спившись, должно быть, сама или запамятавав о своём предназначении. Он упирался теперь сам. Шёл, спотыкался, обдирает коленки, но не звал судьбину в помощницы, потому как знал, что она его не поведёт, а свалит либо в психушку, либо в могилу. Он не стал алкоголиком, но приобрёл некоторые наклонности и повадки их: неудовлетворённость, все начала депрессии, лёгкую нервозность, которые всегда присутствовали в нём, тогда как в настоящих алкоголиках эти состояния под воздействием хмеля время от времени отходят несколько на задний план.

В детстве, оставшись после автокатастрофы сиротой, совсем не помня родителей, он жил в детдоме в маленьком железнодорожном посёлке недалеко от города, но всё-таки достаточно не близко, чтобы оставаться сельским, а значит, совсем не городским жителем. Большой мир был там, за поворотом железнодорожного полотна, откуда приносились исходящие теплом и чужими запахами поезда. Город для него был всегда необъятным и неведомым полусуществом с необъяснимыми повадками и бессмысленным свойством непрекращающегося движения. Нужно или не нужно, а в городе всегда что-либо движется и каким-то образом вносит в сознание порыв к такому же бессмысленному движению. Словно делал что-то и оставил, но это оставленное

дело действительно и неотложно требует обязательного завершения своего, иначе что-то беспокоит, грозит и обещает плохое последствие. Это чувство, неловкое и саднящее душу, он сохранил в себе навсегда. И, даже перебравшись в город, став давно городским жителем, страдал от неумения приспособиться к городской сутолоке, к излишней суете. Этого было предостаточно от природы и в нём самом. Но извне это было удручающе лишней нагрузкой. Казалось, он на всю жизнь остался глазастым мальчишкой, зачарованным надвигающейся машиной чёрного грохочущего паровоза. словно так и остановился у проносающегося состава с открытым ртом и слезящимися от пыли и ветра глазами. Даже теперь, уже в пятьдесят, он по-прежнему часто оставался в гипнотическом состоянии перед кишачей автомобилями автострадой, перед нарастающим гулом электричек, перед многоликой толпой городских улиц и магазинов. Что-то выключалось в нём в эти мгновения. Сознание его замирало, отказываясь служить, а кровь, под напором напрягшегося испуганного сердца, устремлялась в сужающиеся артерии с болью и шелестом. Он никак не объяснял это. Это не объяснишь. Это живёт само по себе в каждой клетке и время от времени даёт о себе знать. Но ему всегда хотелось поделиться с кем-либо этим противоречивым чувством и очарования, и страха одновременно. Ему это чувство совсем уж неприятным до конца не казалось. Как чувство одиночества, как грусть, может быть, ещё тоска. Все эти состояния не совсем уж плохие в нужный момент, в нужном месте. И почему-то всегда есть желание разделить их с кем-нибудь.

А поэтому он частенько, оставшись холостяком, садился и марал листы бумаги, заставляя слова выходить из ленивого сознания. словно этим можно было оживить бумагу и заставить разделить с ним накатившую грусть. Слова неуклюже ложились в письмо, путались меж собой, дразнили своей неукротимостью и баловством. Он злился на них, на своё дурацкое желание усмирить этот словесный гвалт. И кончалось всегда одним и тем же: сочинения выходили

скупыми, основные слова не подчинялись руке и убегали со страниц, как нашкодившая кучка подружек-хохотушек. Он либо забрасывал писанину в шкаф и почти забывал о ней тотчас, либо, осмелившись, улаживая своё хилое тщеславие, отправлял письмом в бездну далёкой неохватной действительности, существование которой лишь смутно представлял себе. Замечали ли его письма там? Такого вопроса он никогда себе не задавал. Очарование и одновременный страх перед величием и непостижимостью другой жизни не оставляло ему возможности понять, чего же он сам-то, в конце концов, стоит в этой жизни, мелькающей перед глазами грохочущим поездом. И вскочить на её подножку у него никогда не хватало ни сил, ни храбрости. Он лишь украдкой примерялся прыгнуть, иногда чувствуя, как накатывает порыв, как тянется его замирающее сердце к поручням желанного вагона, как улетает оно трепетной птицей вместе с мелькнувшим вдруг в одном из окон таким знакомым и таким недостижимым лицом. И лишь маленькое письмо, как крохотный отрывок своей надежды, умел он наскоро бросить в уносящуюся щель почтового ящика. Он надеялся всегда, что вот так же из этого грохота вылетит вдруг неожиданно листок с ответом. Ведь кто-то вот так же где-то бросает свои письма и для него. Только они идут ещё где-то, идут...

Его старые, накопившиеся за долгие годы записи пылились за шкафом в потрёпанных картонных папках вперемешку с жёлтыми от времени листами старых газет и школьных тетрадей. Может быть, и было что-то ценное в этих записанных размышлениях, философствованиях, но кто это мог оценить, кому это могло понадобиться? Сам он помнил почти наизусть все свои дневники и письма. Но и сам же видел их несовершенную, зачастую нелогичную всеобъёмность. Думать обо всём можно, но вот писать это же... было полнейшим абсурдом. Он, словно алхимик средневековья, смешивал слова и фразы, как реактивы и различные вещества, надеясь, вероятно, однажды получить что-то необычайно новое и неведомое, чарующее и захватывающее душу, как если бы найденное алхимиками новое

драгоценное вещество очаровало глаза и восторгом наполнило сознание. А как-то однажды он понял, что законченная, уже собранная в нечто цельное книжка угнетает ещё больше, чем недописанная. В этом случае невыносимы мучения сомнением в правильности сделанного, отчаянное барахтанье в бессмысленных повторах картин и событий, которые теперь можно лишь переписывать и дополнять до бесконечности, но от этого они не становятся лучше. При этом он доходил до беспамятства и в конце концов все добавления выбрасывал в мусор. Ждал ли он реакцию читателя, отправляя нечто законченное в редакцию? Скорее нет. Давно стало понятным то, что чьё бы то ни было мнение уже не изменит написанного, если уж он сам не в силах этого сделать. То, что выходило из сознания в строку, почти тут же становилось чужим и неизменным. Но изнуряющие сомнения грызли мозг и заставляли страдать почти физически. Наверное, политики, развязывающие войны и глумящиеся над людской простотой и беззащитностью, сомневаются меньше в своих злонамерениях? Нет, это не так! Совесть и размышления мучают всех без исключения: и тирана, проливающего кровь сородичей, и маленького серого писателя, сочинившего-таки свою книжку. Он, конечно же, понимал своеобразную несовершенство своих опытов, наивную всеохватность, размытость и бесконфликтность описываемых событий. Но понимал также, что литература, как и всякое искусство, многогранна...

Вообще, думалось, все книги в мире условно можно разделить на несколько категорий. Одни могут быть подобны закрытому собранию, где о происходящих действиях можно только догадываться, где явная клановость диктует жанр и течение событий. Это книги для узкого, посвящённого круга читателей. Есть книги, похожие на административные, помпезные и многозначачие, здания с множеством кабинетов, в большей мере ненужных и бесполезных. Такое, наверное, можно сказать об учебной литературе, о специальных справочниках, энциклопедиях и ещё о многих книгах из ряда так называемой специальной литературы. Есть,

конечно же, ещё книги-парткомы — с дутой многозначительностью и вычурной правотой. А есть книги большие, умные и важные своей философской великозначимостью. Их читают специально и только один раз — для дела, как говорят. И тут же книга может быть каким-то клубом или — в более широком смысле — домом для каких-то кружков, подобно Домам культуры или киноконцертным центрам. А может быть, и маленьким баром, забегаловкой, закуской, развлекательным варьете, со всеми вытекающими отсюда направлениями в повествовании. Таких книг много, они так пестрят многообразием обложек и, конечно же, разноплановостью беллетристики. И тут нет особой нужды ругать это или, наоборот, восторгаться. Это нужно просто принимать. Это чтиво, так сказать, для всех. Его и читают все понемногу, на бегу, второпях, часто для того лишь, чтобы, как говорится, «накормить» глаза. И есть книги-церкви, куда не все ходят, но почти все понимают важность благого дела их. Такие книги если читают, то потом перечитывают всю жизнь. Таких произведений мало. К чему причислять свои литературные опыты, он не знал...

И вот однажды!.. Как часто в жизни происходит это «однажды»? Один раз, два? Или вся жизнь состоит из этих неожиданных «однажды»? У него это случилось именно однажды! В сумерках серого обшарпанного подъезда в грязно-синем изуродованном жестяном почтовом ящике однажды он обнаружил большой плотный конверт с мозаикой почтовых марок, придавленной оттисками почтовых штемпелей. Сердце его заколотилось взволнованно, и, чтобы успокоить его, пришлось облокотиться на расшатанные без деревянных накладок железные поручни. Чуть успокоившись, затаив дыхание, он тут же вскрыл конверт. Какие-то странные газетные вырезки, глупые, ничего не значащие огрызки журнальных фотографий. Он ничего не понимал. Кто прислал это письмо? Внимания заслуживал лишь конверт, на котором значился только адрес получателя, написанный его собственным размашистым почерком. Получалось, что это письмо самому себе. Обратного адреса

на конверте не было. На его обычном месте неразборчивой кляксой расплзлась большущая непонятная печать. Поднявшись в квартиру, он долго изучал содержимое пакета, потом, в сердцах ругнувшись, свалил всё в мусорное ведро. Оставил лишь конверт. Плотная серая бумага с золотыми крапинами по всему полю чем-то привлекала внимание. «Ещё пригодится...» — подумалось легко и бесхитростно.

Он тут же определил в конверт тетрадь с последними заметками и на день-два забыл о нём.

Нужно сказать, что, проживая в однокомнатной квартире в десяток квадратных метров законченным холостяком, он никогда не чувствовал одиночества. Ни когда жил здесь с женой, благодаря которой, наверное, и получил когда-то эти квадратные метры, ни после, когда жена ушла от него, толком и не объяснив свой уход. Наверное, он не понимал или не находил в одиночестве ничего плохого или угнетающего. Это состояние было его сутью с тех самых пор, как он помнил себя. А память его была устроена необычайно просто. Всё плохое и горькое она упрямо выбрасывала из себя прочь, не превращая, как это обычно случается, в грусть, в досаду или, того хуже, в излишнюю желчь и злобу. Его память хранила только доброе, только тёплое и хорошее. Правда, чересчур хорошего в памяти тоже не было — наверное, потому, что такого в жизни просто не случалось. С трёх лет он жил в детском доме в том самом железнодорожном посёлке. И значит, по логике вещей, что-то случилось не очень хорошее в связи с его рождением, поскольку память совершенно была не в силах воспроизвести что-либо из додетдомовской жизни. И детский дом помнится мало. Ровно столько, сколько доброго и хорошего могло быть на заштатной железнодорожной станции вблизи шахтёрского городка, зимой продуваемой всеми ветрами, а летом задыхающейся угольной пылью с зольных отвалов вечно дымящейся электростанции. Чуть больше хранит память годы армейской службы в Сибири, на отдалённой ракетной точке, где так пригодился его детдомовский опыт психологической совместимости в малом

бритоголовом подразделении. Но вот сослуживцев забыл, хоть убей.

...Нет ничего более бессмысленного и противоестественного в жизни людей, чем война. Какие бы положительные качества или важные свершения ни приписывались войнам, это ни на йоту не даёт оснований видеть в абсурдности кровавых человеческих противостояний что-либо достойное и необходимое для жизни обществ. Войны разрушают не только культуру производства, то есть осязаемый и видимый труд многих и многих поколений, не только резко уменьшают численность людей, тем самым провоцируя природу на ненужный рост населения сразу после войны, но ещё более важно то, что войны разрушают культуру духа, устои и достоинства воспитания. Во время войн рушатся не только города. Бессмысленный, неблагодарный труд, затраченный на производство оружия, приносящий в результате лишь гибель и разрушения, вносит, ко всему прочему, сумятицу и сомнения в созидательный процесс вообще. Жизнь, отданная такому труду, бессмысленна и пуста. Такой жизнью ничему не научишь потомков, разве только убивать и разрушать. Война втискивает в один окоп отцов и сыновей, и неизвестно, кто из них раньше погибнет. Это противоестественным образом нивелирует поколения, перечёркивает возрастные различия людей, вместе с этим разрушая традиции и обычаи, важнейшим образом сформировавшие когда-то воспитательный процесс. В одночасье рушится то, к чему люди приходили веками. И вовсе неизвестно, что перевесит в конце концов, если на одну чашу сложить приписываемый войнам прогресс и движение, а на другую — лишь разломанную войной внутреннюю культуру людей...

Нет, лиц и даже имён из своей армейской службы он не помнил. Зато глухомань таёжную, несказанную красоту осенних, просветлённых первыми холодами далей мог вспоминать с удовольствием и часто. Память с паразитическим упорством, словно фотография, хранила в своих закоулках чудо тамошних зим, восторг перехваченного

морозом дыхания, тишь и мягкую грусть снегов в синих безбрежных логах. «В природе больше хорошего, потому и запомнилось...» — утверждал он, часто силясь вспомнить «однополчан». Слегка раздражался из-за того, что не помнил людей, с которыми служил.

...Спустя какое-то время конверт подвернулся под руку. Он заметно потяжелел. Несомненно, в нём что-то прибавилось. Удивился: «Что же такое я в него мог положить?» В конверте оказались начальные наброски одной истории, которую хотел когда-то написать, да всё не доходили руки, не хватало усердия и вдохновенного порыва. Удивительным образом количество написанного явно возросло с тех пор, как он положил тетрадку в конверт. Бегло просматривая её, поймал себя на мысли, что не писал этого. Начало было, несомненно, его. Припомнилось, как выуживал первые строки этой истории из хаоса своей плохо организованной памяти. Они были неуклюжими и плохо изложены словами, наспех пришедшими на ум. Но чудным образом появившееся продолжение истории было ясным и понятным, сложившимся в замечательный сюжет, увлекающий интригой, верным действием и ладным словом. Почерк был, без сомнения, его. Так копировать или подделываться под его руку не пришло бы никому в голову. Кому нужно было корпеть так много и кропотливо над нелепой шуткой — дописывать его неинтересную, малозначащую историю?

«Я, вероятно, начинаю сходить с ума...» — подумалось необычайно спокойно и ясно. Ещё подумалось, что надо бы прекратить с этим писательством, поскольку уже не помнишь, когда берёшься за перо.

«Может быть, это произошло случайно, во сне или „под мухой“?..»

Продолжение следует